



Михаил Ярцев

Родился в 1953 году в Ленинграде. Петербуржец в четвертом поколении. Окончил ЛГУ. Кандидат физико-математических наук по специальности «Океанология». Участник семи высокоширотных экспедиций к обоим полюсам Земли. Занимался издательским и страховым бизнесом. Пишет прозу, занимается переводами. Автор двух изданных книг. Третья книга – сборник повестей «Блюз в ночи» — в 2021 году вышла в издательстве СПб ООК «Аврора» при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга.

Два урока правды (повесть номера)

Я сказал только то, что сказал,
а не то, что вы об этом подумали.

Гай Петроний Арбитр

В жизни мне неоднократно везло. Знающие мою судьбу немногочисленные друзья и знакомые уверены, что за моей спиной простирает свои крылья надежнейший ангел-хранитель. Наверное, в чем-то они правы. Я тоже так считаю.

Мое везение по-настоящему началось с того момента, когда я поступил в самую знаменитую и сильную школу Ленинграда, а, возможно, и всего Советского Союза: в физико-математическую № 239. В нее набирали по конкурсу аттестатов и по результатам собеседования только в предпоследний, девятый класс. Формировали десять параллельных групп — больше трехсот пятидесяти человек.

Именитое учебное заведение было организовано в 1918 году, в одном из самых красивых зданий Санкт-Петербурга-Петрограда-Ленинграда — доме Лобанова-Ростовского, более известного как «дом со львами», на углу Исаакиевской площади и Адмиралтейского проспекта. Куда уж центральнее и величественнее! Нынешний свой номер

школа приобрела в 1942 году в блокадном Ленинграде, когда для всех городских школ ввели единую нумерацию. А в 1961 году стала первой в Советском Союзе специализированной физико-математической школой. Она была «на слуху» во все времена. О ее учителях и учениках писали газеты и журналы, снимались документальные фильмы и выходили телепередачи. Одна из статей, с заголовком «Кузница гениев», появилась в уважаемых и серьезных, без всякого налета бульварщины, «Аргументах и фактах».

Слава школы как флагмана российского среднего образования не уступала, а во многом и превосходила ее известность, успехи и достижения советской эпохи. Питомцами школы, в 2015-2017 годах лучшей в России, а с 2014 года получившей статус Президентского физико-математического лицея № 239, в разные годы были лингвист-русист, ректор СПбГУ Людмила Вербицкая, государственные деятели Михаил Зурабов и Сергей Фурсенко, предприниматель и один из самых крупных бизнесменов на постсоветском пространстве Владимир Коган, академик РАН Николай Кузнецов, создатель языка программирования «Kotlin» Андрей Бреслав и другие. Прекрасная подготовка, блестящие учителя, обширная математическая база, далеко выходящая за рамки программы массовой школы, помогли выпускникам Григорию Перельману и Станиславу Смирнову совершить эпохальные открытия и добиться мирового признания в развитии теории чисел, Алисе Фрейндлих, Андрею Толубееву и Ольге Волковой — блистать в кино и театре, Наталье Кучинской — стать звездой спортивной гимнастики и многократной олимпийской чемпионкой, а Александру Халифману завоевать звание чемпиона мира по шахматам.

Я же почти полвека спустя вспоминаю двух своих педагогов. Два урока, две беседы с ними поставили передо мной вопросы иного, невероятного по сложности уровня, нежели школьные задачи, с которыми мне приходилось сталкиваться к своим шестнадцати годам...

В десятом классе у нас сменились преподаватели по литературе и истории. Литераторша, полноватая миловидная особа солидного возраста, называвшая «деточками» всех без исключения ребят, даже двухметрового правофлангового с вполне естественным прозвищем «Леня-фитиль», завершила преподавательскую карьеру по возрасту. Историк, моложавый бородатый мужчина, говорун-краснобай, ободрявший нас на уроках излюбленным «крой эрудицией, край!», как выяснилось, специалистом по новейшей истории не являлся и в выпускных классах занятий никогда не вел. О переменах мы узнали только первого сентября из расписания, вывешенного в большой рекреации.

Первый урок литературы выпал на второй учебный день.

В кабинет она не вошла, а ворвалась, роняя на ходу зажатые подмышкой книги и классный журнал-кондуит. Стройная, хорошо сложенная женщина средних лет со следами еще не стертой временем красоты броской, восточной: черные глаза и волосы, яркие губы без следа помады. Быстрота движений, пронзительный неженский взор.

Хлопнула дверь, заскрипела приоткрытая фрамуга, потянуло сквозняком. Пространство вмиг наполнилось силой и движением, пропиталось электростатикой, как будто мы попали не в кабинет литературы, а в полуподвал физической лаборатории, где наш физик демонстрировал нам явление электромагнитной индукции, вращая колесо электрофорного генератора Уимсхерста. Высоковольтный разряд — и молния пробежала между шарами-электродами. Ираида Ильинична без предисловий и представлений начала свою речь, расхаживая взад и вперед, как зверь по клетке, по импровизированной кафедре-возвышению перед первым рядом парт. Говорила она очень быстро, но отчетливо и звонко. Слова металась по замкнутому помещению, звуки резонировали, дробились и с каждой фразой проникали в нас все глубже.

— На первом уроке я должна, — она голосом выделила это «должна», — целых сорок пять минут толковать с вами о работе Ленина «Партийная организация и партийная литература». Скажу сразу: в этой работе речь идет именно о партийной литературе, — она снова с неприятным нажимом выделила слово «партийная», — газетах, листовках, прокламациях, агитках и иных материалах такого свойства. Это несколько другой жанр, нежели чем литература настоящая. В дальнейшем на наших уроках мы постараемся говорить только о настоящей, — снова выделила голосом, но уже с улыбкой, — литературе! О ее творцах, их судьбах и о времени, в котором создавались их произведения. Что касается труда Ленина, то желающие — я надеюсь, ими будут все без исключения, — тут она высказала необходимую с точки зрения советской педагогической практики, но явно несбыточную в ее практическом воплощении надежду, — могут изучить этот материал самостоятельно во внеурочное время. А сейчас я хочу познакомить вас с одним из самых первых литературных памятников в истории русской словесности. Сегодня я поведу речь о знаменитом, овеянном девятью веками, обросшим множеством легенд и толкований, тексте — «Слове о полку Игореве»!

Последнюю фразу она почти выкрикнула.

И дальше, уже спокойнее, заговорила о русской литературной традиции, о плачах и фольклорных мотивах, о сочетаниях низкого и высокого в «Слове...», об удивительной для того давнего времени сюжетности

произведения, о главном герое Игоре Святославовиче — своенравном защитнике Руси, о подвиге и скорби, о тщеславии и напрасных жертвах... О находках и публикациях, об истории знаменитого списка Мусина-Пушкина, утраченного в московском пожаре 1812 года, о сочетаниях древнеславянского языка с современным русским, о переводе академика Лихачева и о так называемых «темных» местах «Слова...».

Иногда она подходила к столу, точно и быстро находила нужные страницы в заранее приготовленной книге с закладками и зачитывала небольшие куски. И вот уже нам чудилось, что в класс входит израненный гонец с плохими вестями. Вокруг торжествует горе, от воинства русского отвернулась удача. «Третьяго дня к полудню падоша стязи Игоревы». Из молодого воина, из последних сил прохрипевшего донесение, «исхоти юна кров»...

Класс принял ее безоговорочно.

Каждый урок Ираиды Ильиничны являл театрализованное представление, в котором она была и главным режиссером, и исполнителем сольной партии одновременно. Ее зажигательные речи тревожили даже самых завзятых «естественников» нашего класса, считавших до знакомства с максимами Ираиды вершиной прекрасного форму кривой Аньези, а лучшей книгой на свете — «Курс математического анализа» под редакцией профессора Фихтенгольца.

В своих спектаклях — иначе назвать ее уроки не могу — она давала волю и своей, и нашей фантазии, умело дирижируя мизансценами и превращая задуманное ею действие в литературный диспут. На полуслове могла оборвать себя, переключиться и, выхватив из нашей массовой одного, другого, третьего, спросить: «А теперь вы!», «Ваш ответ!». Более всего ее расстраивало, если кто-то тушевался, мямлил или, того хуже, признавался в отсутствии собственного мнения.

— Одна из самых прекрасных вещей этого мира, — наставляла она — это возможность любого человека испытать себя — столько раз, сколько ему необходимо для своего утверждения, поиска своего места, достижения собственной целостности...

Она говорила о Чехове.

— Антон Павлович начинал как Антоша Чехонте во всяких «Сверчках», «Будильниках» и «Осколках», подписывался как «Балдастов» или совсем фельетонно: «Человек без селезенки». Остановись он на этом — что бы осталось нам от Чехова? «Записки вспыльчивого человека»? Сальные шуточки на потребу обывателя: «Если тебе изменила жена, радуйся, что она изменила тебе, но не изменила отечеству»? (По классу прокатывался сдавленный смехок). Но он пробовал, искал, как я только что сказала, — испытывал себя вновь и вновь! Как рассказчик, как но-

веллист, а потом и как драматург. И по сей день во всем мире каждый день, каждый вечер самые разные люди переживают трагедию вместе с Ольгой, Машей и Ириной. Его пьеса «Три сестры», о которой мы сегодня поговорим, идет на подмостках пятидесяти стран мира. Надеюсь, вы не только читали пьесу, но и смотрели спектакль в БДТ? Юрский в роли Тузенбаха там просто божественен! Надо видеть божественное во всех формах этого мира!

«Божественно» — это была ее высшая похвала. Мы прощали Ираиде Ильиничне излишний пафос и театральность речений и всегда старались ее понять, уловить основные посылы и смыслы ее лекций, что стоило немалых трудов и напряжения, поскольку говорила она красиво, образно, богато, но быстро. Впрочем, большинство вскоре привыкло.

Ираида Ильинична была сильна и мощна в анализе прозы, в толковании текстов, но поэзия с ее воздушностью и прихотливостью, игрой рифм и ритмов, несомненно, была ее вершиной, коньком, пиком ее педагогических этюдов. То вместе с Эдуардом Багрицким она уводила нас в сабельный поход, нараспев, с внятным придыханием воспевая содружество ворона с бойцом, то чеканно рубила морзянкой строфы из Николая Тихонова (которого и в программе-то не было): «Адмиральским ушам простукал рассвет: "Приказ исполнен! Спасенных нет"». То с жаром вспоминала забытого, изъятого из библиотек Николая Гумилева, и нам казалось, что золото сыплется не с кружев розоватых брабантских манжет капитана охваченного бунтом судна, а с рукавов строгой черной курточки предводительницы пиратов, по совместительству нашей учительницы.

Известность Ираиды Ильиничны, ее достижения на педагогическом поприще не замыкались в рамках отдельно взятой школы. После олимпиад по физике и математике, череды побед учащихся нашей школы на всесоюзных и международных конкурсах изрядную долю славы в школьную копилку добавляло ее детище — литературный клуб «Алые паруса». Ираида Ильинична являлась его организатором, бессменным руководителем, непререкаемым авторитетом для членов клуба. Две трети списочного состава «Алых парусов» составляли девочки, однако тон в клубе все равно задавали парни.

Ираида Ильинична ходила со своими воспитанниками в музеи и театры, на экскурсии и променады по литературному Петербургу-Ленинграду. К ним мог присоединиться любой ученик школы, но «парусята» во время таких походов держались обособленно, гордо поблескивая алыми косыми трапециями значков, подчеркивавших принадлежность к клубу.

Любому иному объединению, кроме научных групп по интересам, тем более объединению литературному, было нелегко существовать в

жестких рамках учебных программ по профилирующим предметам — физике и математике, на которые приходилось двадцать из тридцати шести академических часов в неделю. Юных литераторов выручали колоссальный энтузиазм Ираиды Ильиничны и, конечно, общий настрой: в те годы Советский Союз не напрасно имел титул «самой читающей страны». В вагоне метро труднее было встретить человека без книги, журнала или, на худой конец, газеты, нежели какого-нибудь чудака с огнетушителем или канарейкой в клетке. Читали все — стоя и сидя, в вагонах и на эскалаторах.

Вдобавок появился новый жанр творчества — бардовская песня, в результате чего, вместе с повторяемыми в песнях и стихах названиями городов — «Зурбаган», «Лисс», «Гель-гью», вдруг вырос интерес к подзабытому творчеству Александра Грина, в откровенных воспоминаниях называвшего себя «первым среди третьеразрядных писателей». Ираида Ильинична верно оценила общий настрой, дав «модное» название клубу и заявив одной из его главнейших задач борьбу против переноса мемориального музея Александра Грина из Старого Крыма в Феодосию.

Вероятно, подобные форумы, как и расплодившиеся клубы самодеятельной песни, были своего рода предохранительными клапанами, сбрасывавшими излишнее напряжение, нараставшее в обществе, поскольку построение коммунизма в отдельно взятой стране отодвигалось на все более отдаленный срок. Как бы там ни было, клуб привлек к себе всесоюзное внимание. В литературных журналах, включая «Юность», издававшуюся миллионным тиражом, вышло несколько художественно-публицистических статей об «Алых парусах» и об Ираиде Ильиничне. Одна из статей называлась: «Бегущая по волнам»...

В один из темных декабрьских дней Ираида Ильинична сообщила, что со следующего занятия и до конца четверти предметом нашего обсуждения будет творчество Владимира Маяковского. В качестве домашнего задания она велела прочесть поэму «Владимир Ильич Ленин» плюс три-четыре стихотворения Маяковского по собственному выбору, а факультативно — выучить тронувший душу стих наизусть.

С литературным наследием Маяковского я познакомился задолго до десятого класса. Однажды — мне было десять — я попросил деда рассказать что-нибудь о войне. Дед нахмурился и после долгого молчания произнес:

— Хорошо вам. Мертвые сраму не имут. Злобу умершим убийцам туши. Очистительнейшей влагой вымыт грех отлетевшей души...

Я только и смог спросить:

— Это ты сказал?

— Нет, — ответил дед. — Это Маяковский... Был такой поэт. Он рано умер — застрелился, не все успел сказать...

И он нашел в книжном шкафу небольшой томик и протянул мне:

— Почитай! Ты вполне дорос, а мне пора на работу...

Я открыл книгу наугад, на первой попавшейся странице, и сразу был поражен: «Дней бык пег. Медленна лет арба. Наш бог — бег. Сердце — наш барабан!»

Я читал книгу до позднего вечера, шевеля губами в такт прочитанным строчкам-лесенкам. Когда дед вернулся, я еще не спал. В одних трусиках выбежал в прихожую и спросил:

— А почему он самоубился? Ведь он так, так, — я захлебнулся от волнения, — здорово пишет?

Дед, с кряхтением стаскивая уличные ботинки, только и произнес:

— Думаю, он большего ждал от революции...

Моим соседом по парте на уроках литературы был Алексей — яркая личность и удивительно красивый юноша. Высокий, стройный сероглазый блондин со стальным взглядом и медальным профилем. Сам Олег Янковский, которого недавно узнала вся страна — киноэпопея «Щит и меч» только что триумфально прокатилась по экранам — смотрелся бы рядом с Алексеем деревенским простачком на завалинке. И это несмотря на то, что герой Янковского, Генрих Шварцкопф, появлялся в кадре только в неотразимом черном мундире с молниями бога Тора в петлицах, а Алеша донашивал после старшего брата потертый вельветовый пиджачок. Правда, в петлице пиджака неизменно присутствовал кругляш хиппового значка с гордой загадочной надписью «Flower power», стилизованной под соцветие.

Мы были очень дружны. Во-первых, потому что оба в свободное от занятий время играли в юношеских баскетбольных командах: я — за «Петроградец», он — за «Красную зарю». Во-вторых, оба воспитывались в неполных семьях. Мне родителей заменял любимый дедушка, а Алешу со старшим братом, студентом второго курса кораблестроительного института, тащила мать, которая преподавала в техникуме физику, вечерами прирабатывая репетиторством. И в-третьих, мы оба не принимали творчество Льва Толстого. Еще в девятом классе, когда «проходили» знаменитые романы «Глобы» и «матерого человечища», Алексей как-то на перемене обмолвился: «Будь Толстой умным писателем, он Анну Каренину не под паровоз бы бросил, а под машиниста! Вот поэтому он только великий!» Эта смелая и явно недетская сентенция очень хорошо сопрягалась со взглядами моего деда на коллизии, сопровождавшие нелегкую жизнь Карениной. Дедушка искренне считал, что терзаниям Анны быстро настал бы конец, попади она на торфо-

разработки в поселке Назия, где выдавала бы за смену по восемь кубов ценного сырья.

Вокруг Алексея сложился ореол загадочности. Говорил он мало, скупо и весомо. На мои вопросы о его отце он уходил от ответа и только смутно намекал, что его отец был кем-то вроде Донатаса Баниониса в фильме «Мертвый сезон». Однажды он показал мне паспорт, где в графе «Место рождения» было записано: «Город Стокгольм. Королевство Швеция».

К сожалению, талантам Алексея не удалось раскрыться в полной мере: он не дожил и до тридцатипятилетия. Тому способствовали четыре распространенные причины: гипертрофированное самолюбие, шальные деньги, алкоголь и женское коварство, причем в короткой, но богатой событиями жизни Алеши они подстерегли его в наихудшей последовательности...

На следующее занятие мы явились подготовленными. Я принес с собой тот самый том, с которого и началось мое знакомство с поэтом, а Алексей притащил в школу полупудовый фолиант энциклопедического формата. В его модную «аэрофлотовскую» сумку через плечо, вроде тех, с которыми щеголяли стюардессы на рекламных плакатах, пособие не поместилось, и он нес его, прижимая к животу, а сумка свободно поло-скалась за спиной.

В классе я с интересом рассматривал его книгу. Если мой экземпляр был лишь одним из десятка аналогичных, лежавших на партах одноклассников, то Алешин был единственным в своем роде. Желтоватая тронутая временем бумага, чуть хрустящая при перелистывании. Грандиозный объем — и стихи, и поэмы, и пьесы. Фотографии и цветные рисунки. Портрет поэта и его факсимиле. На последней странице было оттиснуто: «Подписано к печати 05.05.1941 г.». Мы, дети пятидесятых, были уверены, что в этот год случилась только война, а оказывается, еще и такие роскошные книги издавались! Меня удивило, что Ираида удостоила этот раритет лишь беглого взгляда и прошла мимо.

При штудировании поэмы «Владимир Ильич Ленин» выяснилось, что в Алешином экземпляре отсутствуют две строфы, начинавшиеся с фразы: «Если б был он царствен и божествен, я б от ярости себя не поберег...», зато присутствует иная: «Вас вызывает товарищ Сталин! Направо — третья! Он там!», которой в моем издании не было.

Углубиться в литературоведческие изыскания нам помешала Ираида Ильинична.

Ее голос в декламациях взлетал на октаву выше обычного, не щадя наши барабанные перепонки. Читая знаменитое стихотворение «Вам», она не съела, не запыкала, а, напротив, процедила нам в лицо, мерзко

скривившись на его последнем слоге, запретное слово. Уверен: половина наших девочек к тому моменту знать не знала, что это самое гадкое слово означает в быту.

Следующий урок начался с выступления Гали — самой некрасивой девочки нашего класса. Она вышла на кафедру и прочитала стихотворение «Скрипка и немножко нервно». Произведение невеликое по объему, но чрезвычайно трудное для запоминания, не стихи, а скорее эссе в ритмической прозе, гимн непонятому и отвергнутому одиночеству. Уже сквозь слезы прошептала последние строки: «Знаете что, скрипка? Давайте — будем жить вместе! А?», вспыхнула, разрыдалась и ринулась на свое место. Ее пять минут утешали всем классом, наконец, Алексей покинул меня, турнул ее соседку и до конца урока сидел рядом с Галей, положив свою широкую ладонь на ее маленькую ручку. До финального звонка она не сводила с него глаз, полных благодарности и обожания...

В другой раз кто-то притащил в класс журнал «Огонек», в котором была опубликована статья «Трагедия поэта», и спокойно открыл ее, ведь Ираида Ильинична всегда поощряла любые внеклассные и внепрограммные материалы. Но тут произошло нечто неожиданное: Ираида выхватила журнал из-под носа недоумевающего ученика и с криком: «Не смей читать пасквили, смакующие чужие альковные тайны!» — метнула его прямо в затылок одного из впередисидящих.

Конфуз был полный. До конца урока лицо Ираиды было покрыто красными пятнами, голос срывался, и мы так и не узнали, почему после поэмы «Хорошо» поэт задумал поэму «Плохо», и почему он так и не реализовал этот замысел.

Об этом происшествии все постарались поскорее забыть...

Помимо творчества Маяковского, Ираида уделяла много внимания его литературному окружению. Вспоминала Катаева, Шкловского, Юрия Олешу, не прошла и мимо Бриков. О Лиле она рассказывала с не меньшим пиететом, чем о Владимире:

— Его любовь к ней стала силой, мотором творчества. Да — временами любовь безжалостная и безусловная, любовь злая... Но — любовь! Маяковский всем своим существом, существом-человеком, существом-поэтом, стал источником любви. Строфой, обликом, движением, рифмой, воссозданной вокруг себя атмосферой. Прочтите его поэму «Про это». Ее нет в программе. Прочтите внимательно, и вы все поймете. Задайтесь вопросом: «Как такой человек может любить одного и отвергать другого?» Ведь ее лицо, ее присутствие становятся благословенными для автора...

Наконец, настало время писать итоговое сочинение по творчеству Маяковского. Не скрою: я ждал этого момента, чтобы развернуться

в полном блеске. На два вечера забросил основы термодинамики и аналитическую геометрию и умудрился навалить пятнадцать страниц восторженной чуши. Какие-то обрывки фраз из моего давешнего опуса помню до сих пор: «...и вот на фиолетово-эмалевом фоне декаданса сначала мелькнула, а потом заслонила поэтический небосвод желтая кофта бунтаря и горлопана...» Долго раздумывал над эпитафией. На мой взгляд, получилось так хорошо и возвышенно, что захотелось приземлить восторженный опус какой-нибудь тяжелой, но емкой, как эпитафия на надгробном камне, фразой. Долго ломал голову, и, наконец, меня осенило. Вспомнил книгу Алексея — она была снабжена эпитафией: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. И. Сталин». Подходяще! Авторство этой высочайшей по содержанию, но очень сдержанной, даже казенной, по форме, оценки меня не смутило. Сталин — государственный деятель, похоронен на Красной площади. Руководил страной, считай, тридцать лет, включая военные. Парад Победы принимал, на самой главной дедовской медали — «За победу над Германией» — отчеканен его профиль. Да, культ его личности развенчан, так ведь тут о поэте... Годится!

Первую страницу пришлось переписать, но я был очень доволен собой. Сдавая тетрадь Ираиде Ильиничне, предвкушал грядущий триумф. Наша учительница не скупилась на оценки и проверяла наши сочинения с душой. Свежо было воспоминание, как за свою предыдущую работу по пьесе Горького «На дне» я был удостоен пятерки с двумя плюсами и краткой ремарки: «Браво!» В иерархии оценок Ираиды «браво» стояло всего на одну ступень ниже «божественно», а нам было известно, что «божественно» писали только Петрарка и — специально для членов клуба «Алые паруса» — Борис Пастернак, о котором после его нобелевского лауреатства вспоминали лишь в узких компаниях «своих». «Парусята» мне бешено завидовали.

Сочинение я сдал в субботу. Во вторник был последний урок литературы в уходящем календарном году. В коридорах царило предпраздничное настроение: скоро Новый год, впереди десять дней зимних каникул! В ожидании грядущего панегирика, которым хотел похвастать перед дедушкой, я три дня терзался: «А вдруг Ираида не успеет проверить работы?» Когда увидел ее, входящую в класс со стопкой тетрадей, возликовал про себя. Еле дождался конца урока и кинулся к учительскому столу. Быстро нашел свой труд, впился в последнюю страницу и... не увидел никакой оценки. Ни-ка-кой! Только пара пропущенных запятых, которые она добавила красными чернилами, говорила о том, что моя работа была просмотрена.

Ираида Ильинична уже успела с нами попрощаться и торопливо собиралась покинуть кабинет. Я ухватил ее за рукав, бестактно ткнул ей в руку свою тетрадь и в полной растерянности по-идиотски спросил:

— Как вам?

Она брезгливо взяла мою тетрадку, открыла первый лист, обозначила указательным пальцем мой выстраданный эпиграф и отрывисто произнесла:

— Такого Сталин никогда не говорил и, тем более, не писал! Он лишь отчеркнул эту фразу в письме Лили Брик на его имя. Своим знаменитым синим карандашом, которым накладывал резолюции на списках врагов народа. А стая прихлебателей и подхалимов стала выдавать ее за очередное гениальное прозрение вождя всех народов... Сейчас извини, мне некогда!

Она сунула мне тетрадку и поспешила к выходу...

После недолгого каникулярного блаженства жизнь быстро вернулась в привычное русло. Впереди — экзамены на аттестат зрелости, вступительные испытания, серьезное и трудное время. Я стал уже забывать странный инцидент с сочинением. Однако через некоторое время заметил, что между мной и Ираидой возник холодок, образовалась дистанция. Прежняя нежность отношений наставника и любимого ученика исчезла, словно ее и не было. Все реже мне давали слово на диспутах, все больше я растворялся в основной массе одноклассников, которые искренне считали литературу «непрофилем», выполняя необходимые ритуальные действия и довольствуясь удовлетворительными оценками.

На уроках разбирали «военную» прозу второй половины века — рассказы Алексея Толстого, романы и повести Симонова, Бондарева, Астафьева, прозу трудную, во многом канонизированную, что сокращало возможности вольных нестандартных трактовок, столь любимых Ираидой. Но я случайно наткнулся в дедовской кладовке на подшивку журнала «Новый мир» и в один присест одолел повесть Василя Быкова «Мертвым не больно». Изумился, сколь далека была война, описанная Быковым, от симоновской. Когда на ближайшем уроке я попытался вставить в разговор «свои пять копеек», свое мнение о других писателях-фронтовиках и их работах, Ираида Ильинична прервала меня на полуслове:

— Ну, кроме... — она впервые назвала меня по фамилии, — эту вещь, я уверена, никто не читал. В программе Быкова нет. Давайте лучше слушаем Аню, — она обратилась к самой видной «парусистке» нашего класса. — Она подготовила интересный обзор по очерковой прозе военных корреспондентов.

Это уже не лезло ни в какие ворота! Впервые на моей памяти Ираида Ильинична лишила ученика слова за попытку апеллировать к «внепрограммному» произведению! Я надулся, обиделся и затаился. Сидел на уроках тихо, не высовывался и с дополнительными вопросами к учительнице больше не лез.

Объясниться помог случай.

Была в то время на ленинградском телевидении замечательная передача — «Турнир старших классов», сокращенно «Турнир СК», «прадедушка» таких современных интеллектуальных ТВ-игрищ, как «Своя игра» и «Что? Где? Когда?», с элементами шоу, позаимствованными у московского «КВН». В течение почти семи лет она выходила в прямой эфир. Суть передачи — своеобразного соревнования школьных команд в знаниях, быстроте реакции, умении мыслить необычно и нестандартно — была проста: две команды одаренных и бойких школьников в течение одного часа сорока пяти минут соревновались в эрудиции в студии Ленинградского телевидения на улице Чапыгина, на четвертом этаже дома номер шесть. Темы были самыми разнообразными: от истории застройки Ленинграда с петровских времен до цифры «три» в музыке и литературе. К сожалению, сейчас даже в паутине Интернета трудно найти внятное описание этой игры.

Основными нашими соперниками были команды «тридцать восьмой» и «тридцатой» школ, учебных заведений тоже физмат уклона, но первая с упором на физику, а «тридцатка» — на математику. «Тридцать восьмая» была дополнительно знаменита тем, что в ней, на пару лет раньше описываемых событий, учился родной сын Аркадия Райкина Костя. Эти три команды практически неизменно ежегодно проходили в полуфинал.

Мы рубились отчаянно, за нас болели учителя, родители и вся наша школа, вплоть до уборщицы тети Поли. Предыдущий финал у «тридцатки» мы выиграли. Я был единственным девятиклассником в команде-победительнице и разделил общий триумф.

Девятиклассник в команде — большая редкость. Мне просто повезло. В начале ноября первого года моего обучения на внеклассном сборище любителей математики я делал доклад о трансфинитных кардинальных числах. Меня очень интересовала тогда теория множеств. Осмелев в конце доклада, я предположил, что первооткрывателем такого способа исчисления мощности множеств вполне мог быть Арман Жан дю Плесси Ришелье — кардинал Франции, заслуги которого в области государственного строительства были признаны всем миром, даже врагами, тогда как успехи и новаторство в математике незаслуженно забыты. В качестве обратного примера я вспомнил Франсуа Ви-

та, автора знаменитой теоремы и создателя символической алгебры, о заслугах которого в математике знает каждый старший школьник, когда-либо решавший квадратное уравнение, но который совсем выпал из людской памяти в качестве лукавого вельможи, царедворца и криптографа, расшифровавшего секретную переписку испанских королей.

Финишировал я под непрерывные смешки почтенного собрания, а председательствующий, учитель математики в параллельном классе Валерий Генрихович, заржал в голос. После семинара он предложил мне поучаствовать в собрании команды, защищавшей честь школы на турнире. Этот учитель — весельчак и балагур вне класса и жесточайший педант и придира на уроках — курировал все интеллектуальные битвы, являясь их главным идеологом.

Так я попал в круг избранных: членов команды в школе знали в лицо. Первый год больше помалкивал на передачах, не хватал без нужды микрофон, но пару раз удачно выступил, доказав свою нужность на деле. В десятом классе я стал капитаном команды, ее «командором» — так официально и громко звучал мой титул. Однако товарищи называли меня просто «кэп».

До финала мы добрались без особых приключений, но впереди нас ждала настоящая схватка. Нашим соперником в очередной раз оказалась «тридцатка», жаждавшая отмщения. Тема конкурса — «псевдонимы и мистификации в русской литературе». Вся школа старалась нам помочь.

После очередных занятий мы отправились за консультацией к Ираиде. Сбор был назначен в актовом зале: в кабинете литературы производилась замена прохудившейся батареи центрального отопления. Зал был тесным и неудобным. Небольшая сцена с потертым бархатным занавесом, состоявшим из нескольких рядов выцветших темно-красных, почти бурых, полотен. В партере — деревянные скамейки по шесть жестких неудобных кресел в каждой, с крышками, откидывающимися с громким стуком. Отвратительная акустика, дробившая каждый звук на составляющие. Собрать здесь всю школу на общее мероприятие было невозможно: поместиться в зале могло два-три класса, а у нас классов было двадцать: десять десятых и десять девятых, почти семьсот человек. А собираться по интересам во внеурочное время школьники предпочитали в просторном и светлом кабинете физики, выстроенном амфитеатром, с окнами, выходившими на здание Новой Голландии на противоположном берегу Мойки. Так что зал использовался редко.

В тот вечер Ираида говорила тише обычного, поскольку декламации в справочном материале, подготовленном ею, не требовались. По теме состязания она предположила — и попадание оказалось стопроцентным, — что речь в основном пойдет о Козьме Пруткове, «его» личности,

творчестве и истинных создателях этой литературной персоны. Она сообщила нам множество интересных фактов, в частности о скандале с представлением на сцене первого опыта Козьмы Пруtkова, водевиле «Фантазия», когда возмущенный император покинул ложу, не дожидаясь конца представления. Поделилась фактами из жизни истинных авторов Пруtkова — братьев Жемчужниковых и графа Алексея Толстого, «молодых и непристойно проказливых», отметила и участие в мистификации Петра Ершова, автора «Конька-Горбунка».

— Пожалуй, на сегодня все...

Мы, уставшие после шести уроков и добавочной лекции, с грохотом поднялись со своих мест.

— Да, еще минутку! Можете «на сладкое» использовать домашнюю заготовку — малоизвестную мистификацию. Поэтесса Черубина де Габриак! Француженка, пишущая на русском, на неродном языке. Ревностная католичка в России начала века! Венок блистательных сонетов в редакции журнала «Аполлон»! Его издают тут же... Всероссийская слава... Обсуждения в салонах и при императорском дворе... Издатель не находит себе места, требует продолжений, мечтает о личной встрече... А на поверку — плод выдумки одаренной девушки из обедневшей дворянской семьи и ее друга, поэта Максимилиана Волошина. Если представится случай упомянуть — убьете жюри наповал...

Тут она посмотрела на меня и сказала:

— Как тебе мое предложение, Миша? Задержись, пожалуйста. Все остальные свободны.

Ребята ушли. Ираида Ильинична продолжила:

— Кое-какие материалы у меня есть. Книга 1924 года «Из мира уйти неразгаданной...» в блокаду чудом сохранилась в нашей библиотеке. Дать я ее тебе не могу. Это память об отце. Все книги из нашей довоенной библиотеки, пережившие блокаду, напоминают мне о нем. Но я сделаю для тебя выписки. Возьмешься?

Я утвердительно закивал.

— Сегодня имя Елизаветы Дмитриевой практически ничего никому. Жизни «Черубины» не позавидуешь: она была репрессирована еще в двадцатые и отправлена в ссылку, где и скончалась. Туберкулез в ссылках плохо лечится... Неизвестно даже место ее захоронения. Как и моего отца! — вдруг, будто непроизвольно, вырвалось из ее груди.

Увидев мой недоуменный взгляд, она, видно, хотела положить руку мне на плечо, но промахнулась, схватила за шею и с силой усадила обратно в кресло.

— Для начала я хочу перед тобой извиниться. Прости, не сдержалась, была излишне резка. Ты, конечно, не виноват...

Я не сразу понял, что речь зашла о злополучном дне раздачи сочинений, ведь с тех пор прошло почти три месяца.

— Когда я открыла твою тетрадь и увидела ту фамилию... Ты меня понимаешь, о чем я?!

— Понимаю...

— Ко мне вернулся страх памяти, казалось, изжитый. Я вспомнила тридцать седьмой год, свой десятый класс... Мне шестнадцать, как и тебе сейчас, я собираюсь в школу, а мой любимый папа — на лекцию. Он был юристом, преподавал право в Коммунистической академии, коллеги называли его выдающимся лектором. У него занятия в тот день начинались со второй пары. Я торопилась, опаздывала — убежала, даже не обняв его... Прихожу из школы — папы нет. В доме все перевернуто, мама не может слова вымолвить, я, почти взрослая, все понимаю, но кричу: «Где папа? Где?» И чем больше я кричу, тем сильнее мама рыдает... Вот представляешь — ты приходишь домой из школы, а у тебя нет отца! Утром был, а потом исчез, испарился, хотя обещал тебя в воскресенье на футбол сводить. Он не заболел, не попал в больницу, не ушел на фронт защищать Родину, а просто пропал по чьей-то злобной и кровожадной прихоти! Как ты это переживешь?!

Я сказал правду, которую обычно скрывал:

— У меня нет отца, Ираида Ильинична! Я даже сомневаюсь, был ли он. Сколько я себя помню, мы с дедушкой всю жизнь живем вдвоем.

Мои печальные семейные обстоятельства, казалось, не тронули ее. Жестко, даже жестоко она продолжила:

— Ну, хорошо! Представь, ты возвращаешься сегодня из школы, а деда нет и никогда больше не будет! Переживешь?!

Такого я представить себе не мог. Как это так — «нет и не будет»?!

Голос Ираиды доносился словно издалека:

— Его расстреляли через три месяца, в конце февраля тридцать восьмого. А еще через три месяца забрали мою мать и отправили этапом в Казахстан, в Акмолинский лагерь жен изменников родины, сокращенно — АЛЖИР. Я осталась одна. Мама вернулась уже после войны, кое-что смогла мне рассказать...

До этого я знал лишь один Алжир — страну, скинувшую с себя ненавидное ярмо французского колониального господства.

Ираида тем временем зашептала:

— Красные вагоны для перевозки скота... сквозные нары... спецконтингент... жара... крыша вагона накалена... нечем дышать... в день кружка воды... хоть пей, хоть мойся... вши в волосах и в одежде... десять часов в день без выходных и праздников рубить камыш... запрещена переписка... никто не знает о судьбе своих родных... только письма

от детей с отказом от родителей, которые зачитывают перед строем на поверке... Мама очень мало вспоминала о лагере... она не говорила, а я не спрашивала, боялась возвращать ее в пережитый ад... не могу объяснить, почему не расспрашивала, не записывала... почти ничего не осталось в памяти, лишь обрывки... как обрывки писем-треугольников, которые зэчки на станциях на удачу — авось, дойдет! — кидали в пробуренные отверстия отхожих мест...

До того момента со мной никто не говорил об эпохе Сталинизма. Два-три абзаца в учебнике о «культе личности», полстранички — о двадцатом съезде... Выходило, что Сталин вроде был и страной командовал, а не заслуживает более подробных характеристик и оценок. И вообще, говорить о нем и связывать историю страны с его именем — дурной тон.

Дома с бабушкой у нас такие беседы происходили всего пару раз за нашу совместную жизнь. Первый, когда я, семилетний первоклашка, вернулся из школы очень подавленным. На вопрос деда о причине моего плохого настроения рассказал, что мне в школе ребята задали загадку: «Ты за камень или за кирпич?» Я ответил: за камень. Мне камни больше нравятся, они красивее, а какая красота в кирпиче? Ребята засмеялись: «Раз ты за камень, то тебя любит Сталин! А мы — за кирпич, и нас любит Владимир Ильич!» Их всех Ленин любит, а меня — нет!

Дед только повел бровью:

— Это еще надо посмотреть, кому больше повезло: им или тебе...

Второй раз разговор возник так же случайно, когда я, уже в шестом классе, посмотрел по телевизору программу «Время», посвященную очередному съезду партии, и спросил:

— Деда, ты член партии?

Он поморщился и односложно ответил:

— Нет...

— Как же так? — расстроился я, узнав, что мой дедушка не принадлежит к передовому отряду строителей коммунизма.

— Был, да меня в пятьдесят первом, при Сталине, исключили и из Политеха выгнали — за связь с врагами народа.

— А чего ты обратно не вступил?

Я уже слышал слово «реабилитация».

— Второй раз в одну реку не войдешь, — философски ответил дед. — Раз сочли, что недостойн, значит — недостойн. Назад проситься не хочу.

— Обиделся?

— Да нет... На кого там обижаться. Время такое было. На время ведь не обидишься... Скорее на «врагов», друзей моих бывших, зубик вырос. Они всех, кто молчал тогда и показаний на них не подписывал, теперь

забыли. Те, кто жив остался, сейчас в Ленгорисполкоме большими начальниками заседают. Да и проживет без меня партия! На моей теперешней работе должность к этому не обязывает.

Дед работал механиком по ремонту швейных машин в объединении бытовых услуг. Числился вне штата, на сдельщине, на работе бывал от случая к случаю, закрывая наряды и получая денежки.

Голос Ираиды уже набрал «крещендо», как на уроках по Маяковскому:

— Я умирала, я прощалась с жизнью. Много раз приходили мысли просто поставить точку. Ложилась спать и шептала проклятия, теряла счет времени, не находила себе места. На руках — больная, сломленная арестами и лагерями мать... Каждый день я тащила свой крест, а он давил меня все сильнее... И вдруг я поняла, что жить дальше с ожесточением в сердце просто невозможно. Я ничего не забыла, не вытравила из памяти, но нашла в себе силы найти себя в деле, которое спасло меня. И вот я пятнадцать лет уже с вами, с моими детьми, и мечтаю видеть в каждом из вас настоящего гражданина своей страны, способного отличить добро от зла, «сокола от цапли», как на русский перевел Шекспира Борис Пастернак. Я храню память об отце, храню его книги, иногда разговариваю с ним. Но любое стороннее напоминание о... сам понимаешь, о ком, язвит меня невероятно! Ведь все, что происходило тогда, происходило по его воле, с его согласия. И вот, увидев у тебя якобы его цитату, я сорвалась...

Она помолчала. За окнами было уже совсем темно; мы и не заметили, что последний час провели в сумерках. Я посмотрел на Ираиду. Мне показалось, что она на глазах постарела, похудела и осунулась. Крупный прямой нос ее заострился клювом, и сама она казалась сейчас своей шаржированной копией.

Но вот она сменила тему — и превратилась в знакомую мне школьную учительницу:

— Думаю, ты меня понял. Я вижу, что ты умеешь чувствовать — очевидно, рано этому научился. Я помню все твои работы. Недетский взгляд, интересный угол зрения. Ты находишь важные детали. Правда, часто тонешь в многословии. Это бывает, когда хочешь рассказать сразу обо всем. Но обо всем хорошо не получается. Хотя о Маяковском ты написал просто прекрасно! С любовью к поэту и с уважением к памяти о нем. Я не знаю, удастся ли тебе когда-нибудь войти в литературу, написать самостоятельное произведение, повесть или рассказ, но, если попробуешь, пиши только о том, что хорошо знаешь и любишь. Только любовью и знанием можно создавать нечто, достойное внимания. Все остальное — ремесло, в котором успех определяется искусностью

автора. И в ремесле, конечно, можно достичь вершин. Возьми Алексея Толстого: фламандец по языку, буйству красок, сказочная техника — Адриан Остаде, Франс Халс! Все слова отточены, как селедочные головы на их натюрмортах. Но любви, кроме любви к себе, как в жизни, так и в творчестве нет. Прощать и любить — это немногим дано. Я научилась. Правда, мне это очень тяжело далось... Теперь ступай. Еще раз извини меня. Я устала. Записи о Черубине отдам тебе послезавтра.

С этими словами Ираида Ильинична закрыла глаза и откинула голову на спинку жесткого высокого стула, сбросив руки между некрасиво вывернутых коленей. Со стороны могло показаться, что она моментально заснула. Я поднялся и медленно, стараясь не скрипеть половицами палубного пола, тенью по стенке выскользнул из зала...

Только на подходе к дому я обнаружил, что оставил свой портфельчик из ложного крокодила в зале: оказывается, весь обратный путь проделал с пустыми руками, забыв все на свете. На следующее утро я нашел свою пропажу прямо у входа в гардероб, куда его, очевидно, выставила уборщица тетя Поля...

Тот финал мы проиграли. Команде я помог плохо, выгодный момент вспомнить о Черубине пропустил, и, возможно, это была моя худшая игра из всех семи, в которых принял участие за два школьных года.

Почти одновременно с новой учительницей литературы в нашем классе появился и новый учитель истории, Антон Петрович. В отличие от Ираиды Ильиничны, историка мы приняли настороженно. Первым делом он шокировал уже умудренный жизнью класс своим обращением к присутствующим: «Товарищи!» — и последующей переключкой, более напоминавшей воинскую поверку.

Преодолев все невзгоды и трудности предыдущего года обучения, набив все возможные шишки, убедившись в глубине своего незнания, выдержав ворох зачетных работ по физике и математике, мои одноклассники (и я, разумеется, в их числе) приобрели некоторый налет матерости, гонора и спеси. Только к физикам и математикам пиетет сохранялся; остальные учителя-предметники, если только у них не отмечались нами особые заслуги и таланты, если и удостаивались «особого отношения», то скорее негативного свойства.

Поначалу всем в классе показалось, что новый историк примкнет к отряду непопулярных педагогов. Антон Петрович внешне был весьма своеобразен: очень высокий, худощавый почти старик с торопливой прыгающей походкой и заметной хромотой. Он обходился без помощи палки или трости, но со стороны казалось, что его торопливость — лишь способ побыстрее найти подходящее место для отдыха усталого,

немолодого и, видимо, сильно побитого жизнью тела. Слегка запрокинутая голова, гладко выбритая и обтянутая сухой шелушащейся кожей, и сведенные назад плечи прогибали его спину, как натянутый лук. Желтые несмыываемые пятна на указательном и среднем пальцах правой руки выдавали в нем страстного курильщика.

Активной борьбы за здоровый образ жизни, разве что кроме самых общих плакатных призывов, в те годы не велось, но курильщиков в нашем выпуске можно было пересчитать по пальцам. Отношение к курению было самое негативное — то была вредная привычка старшего поколения, задетого войной и разрухой.

Учитель всегда носил строгий черный костюм — не новый, лоснящийся на рукавах, и чистую белую рубашку, застегнутую на все пуговицы до горла. Кадык его худой и длинной шеи просился наружу, распирая ворот рубашки. Костюм, по-видимому, у него был один — менялись только рубашки. Они всегда оставались чистыми, белыми, выглаженными и пришпиленными верхней пуговицей под горло.

С самых первых уроков мы поняли, что этот странный человек дело свое знает отлично, хоть и исполнял его он тоже необычно. Антон Петрович в рассказах был сух, педантичен и последователен. Старательно избегал оценок тех или иных исторических событий, но щедро делился фактами, о которых наше поколение, воспитанное «Пионерской правдой» и домашними библиотеками, по преимуществу состоявшими из русской классики, не имело понятия. От него мы узнали, например, про семнадцать миллионов тонн грузов — танков, самолетов, боеприпасов, бензина, продовольствия и прочего снаряжения, поставленного во время войны союзниками по коалиции, десятая часть которых осталась лежать на дне Баренцева моря. И про то, что знаменитый советский воздушный ас Александр Покрышкин летал на истребителе «Аэрокобра», а вовсе не на машинах, разработанных отечественными авиаконструкторами.

Иногда в начале очередного урока после своего стандартного приветствия историк позволял себе двух-трехминутные вводные, которые мы называли «лирическими отступлениями»:

— Историк, товарищи, оперирует только фактами! Только фактами и их причинно-следственной связью! Было — не было! Построили, разрушили... Напали, объявили войну, замирились. Поработили — стонали под ярмом, воспряли — обрели независимость и суверенитет. Родился, сделал то-то, скончался... А интерпретация фактов, подвод к месту, а чаще не к месту, наспех сколоченной теории, конспирологическая подоплека событий, гипотетический прогноз — другое ремесло! Это удел политиков и политологов, всяких комментаторов и, не к ночи будь сказано, экспертов, журналистов-международников, социологов, наконец.

Запомните: любой исторический факт, историческое событие, даже факт биографии известного лица, можно вольно или невольно исказить, перевернуть, вырвать из контекста. Придать диаметрально противоположные смыслы. Подходящие толкователи найдутся всегда, и неподготовленный человек вряд ли сможет вычленив истину в словесном...

Тут с его губ чуть не сорвалось ожидаемое слово, но после секундной паузы прозвучало красивое — «эквилибре»... По классу прошелестел шумок, но он, не обращая внимания, продолжал:

— Вот мы с вами уже говорили о Тегеранской и Ялтинской конференциях, а сегодня поговорим о Потсдаме. Там тоже были приняты очень важные решения, и это — исторический факт. А насколько эти решения были с течением времени ревизованы и извращены, так это вы сами увидите, прочитав разделы зарубежной хроники в сегодняшних газетах...

Иногда его «вступления» носили и впрямь лирический характер.

— Я часто слышу, как вы на переменах, мальчиков имею в виду в первую очередь, обращаетесь друг к другу «Старик! Старичок!» Вот не люблю я слово «старость» и все его производные! Ни фонетически, ни семантически его не приемлю. Только попробуйте произнести это неприятное слово громко, отчетливо и уверенно разделив на слоги, особо выделив артикуляцией слог второй. Но не делайте этого на людях! Для такого эксперимента потребно полное одиночество вкупе с запредельной концентрацией: ведь в финале вы услышите нечто среднее между «тростью» и рычанием вечно недовольной и брехливой от недокорма собаки... И «трость» — не простая трость, а — умерьте иронию — сухая, ломающаяся с противным звуком палка. Со звуком, похожим на мелодию, которую с завидной регулярностью издают мои суставы, когда я поутру пытаюсь слезть с кровати и отправиться к вам на урок, раздвигаясь наподобие складного метра, посылно перемещая каждую следующую часть своего тела...

Затем делал драматическую паузу, а через пару секунд продолжал, как ни в чем не бывало:

— А уж про семантику этого понятия лучше вообще помолчать. Всякие отговорки про «осень жизни», про «благодарность» этой самой никчемной и бессильной старости, почерпнутую вами из модных песен советских композиторов, которыми, я знаю, вы все увлекаетесь, ничего, кроме раздражения, у меня не вызывают. Попробуйте обойтись без этого понятия. Тем более, вы — люди молодые!.. И такие же молодые горячие сердца с энтузиазмом взялись за дело в начале тридцатых годов...

И после этого странного вступления, без всяких переходов, не изменившись в лице, тут же приступал к рассказу об индустриализации СССР в годы первых пятилеток...

У Антона Петровича был пунктик. Он обожал упоминать точные даты тех или иных событий и фамилии, имена, отчества знаковых личностей, творцов истории с обязательным указанием занимаемых должностей и титулов в период их наивысшего подъема. Так, правильный ответ на вопрос об установлении Советской власти в Забайкалье и борьбе с японской интервенцией в годы Гражданской войны, согласно его представлениям, должен был звучать так: «6 апреля 1920 года была образована Дальневосточная республика, служившая буфером между Советской Россией и империалистической Японией. Сделано это было во избежание прямой конфронтации неокрепшего еще к тому времени государства рабочих и крестьян с агрессивным соседом. Первым председателем правительства ДВР был Александр Михайлович Краснощеков». Такой ответ оценивался в высший балл. Рассуждения про «героическую борьбу», «напряжение всех сил», «триумфальное шествие» Антон Петрович прерывал: «Вы мне мыслью по древу не растекайтесь! Цифры, факты! Шелухи поменьше!»

Надо сказать, педагогические изыски Антона Петровича меня радовали. К ним я относился, как к спорту, благо память с детства у меня была отличная. Возможно, сказалось то, что с раннего детства я много времени был предоставлен самому себе. Чтобы было не скучно, стараюсь занять свое вынужденное одиночество, много читал, декламировал в маленькой пустой квартирке понравившиеся стихи: Маршака, Михалкова. Вскоре я уже запоминал текст с одного-двух повторов. А, может быть, причиной — уроки шахматной игры, которые мне преподавал дед?

Тренировка памяти вошла в привычку, поэтому запомнить лишний десяток имен и фамилий, дат и географических названий для меня особого труда не составляло. Очень скоро историк начал меня выделять из общей массы, и даже — это я узнавал от других благоволивших ко мне педагогов — хвалил меня в учительской, рассказывая байки про мою феноменальную память. Я был польщен.

За каждую ошибку историк снижал оценку на один балл. Ребята, ленившиеся потакать капризам странного историка и относившиеся к его урокам как к неизбежному обременению, выучивали десять-двенадцать дат и получали законные тройки. Двоек Антон Петрович не ставил...

Тот запавший мне в душу урок начинался совершенно обычно. Тема — «1944 год — год решающих побед». Мы внимали. Антон Петрович в своей обычной манере сухо докладывал:

— Первым сталинским ударом назовем Ленинградско-Новгородскую операцию, которая началась 14 января и в итоге привела к дебло-

каде Ленинграда, освобождению Ленинградской области... Войска Ленинградского и Волховского фронтов под командованием...

Он перечислял по порядку военные операции, не забывая указывать даты их начала и конца, задействованные силы и средства сторон, фамилии наиболее отличившихся героев, краткие итоги и результаты. Но каждый раз неизменно добавлял: «третьим сталинским ударом, пятым сталинским... седьмым...»

Рассказ о десятом наступлении, состоявшемся в Заполярье и приведшем к освобождению Печенги и разгрому 20-ой горной армии вермахта, прервал звонок на большую перемену. Народ дружно повалил на выход. Впереди было двадцать пять минут свободного времени.

В те годы имя Сталина табуированным не являлось, но общий настрой и господствующие идеологемы рекомендовали не вспоминать его без крайней необходимости. Памятуя недавний разговор с Ираидой Ильиничной, я решил прояснить ситуацию и подскочил к учителю:

— Антон Петрович! Вот вы говорили — «сталинские». Это же удары Советской армии?! Советской! Это народ победил...

— Сталинские удары, мальчик, сталинские. А ты обедать пойдешь? — неожиданно спросил он.

Я растерялся:

— Нет. Я до дома терплю, не успеваю проголодаться.

Это было маленькой ложью. Просто у нас с дедом мои школьные обеды были экстренной статьей расходов, к которой я прибегал лишь в крайних случаях — если вынужденно задерживался в школе после шести уроков.

— Пошли ко мне, поговорим!

И он увлек меня в малюсенькую «преподавательскую» каморку, размещавшуюся за доской. Внутри стоял столик, а на нем — чайник, граненые стаканы и пепельница; два венских стула; вдоль стен — свернутые в рулоны карты, схемы и диаграммы. Обстановка была самая спартанская.

— Хочешь чаю? — спросил он меня.

Я отрицательно мотнул головой.

— Ну, как знаешь.

Учитель налил из чайника воды в один стакан, ловко вложил в него небольшой кипятильник и, ожидая, когда вода забурлит, раскрыл грубоватый массивный портсигар. Достал курево, постучал мундштуком папиросы по крышке, щелкнул издававшей виды бензиновой зажигалкой, со вкусом затянулся:

— Понимаешь, Миша... Вот ты сказал: «Советской армии удары»... Я тебе возразил: «Сталинские»... Вроде бы неважно, вопрос терминологии...

гии. А для меня — важно, и очень-очень! Я ведь сам не ленинградский, не питерский, из-под Москвы мы род вели, коломенские... Двадцать первый год. Обычная крестьянская семья той поры: отец с матерью неграмотные, старший брат, двенадцати лет, в помощниках, я на подхвате, мне — восемь. По той весне мужики стали землю делить, стояли участки пустые, кто на войне сгинул, кто в революцию, было ничье — стало мое... Это теперь я скажу: «психология смутного времени». А тогда все было непонятно. И вышла в итоге непонятность страшная. Крестьяне, единоличники — что с них взять? Хуже волков! На этой дележке отца моего и прибили. Мать побежала выручать — так и ее заодно, чтобы под ногами не путалась. Мы с братом их обоих на старой меже нашли. Мать как будто заснула, а у отца голова окровавлена. Мне брат Тимофей говорит: «Антоша, не смотри туда!» — и их тела собой заслонить пытается...

Вода в стакане закипела. Антон Петрович без обмера сыпанул в стакан черного сора из зеленой пачки, по центру которой была вытеснена надпись: «Чай грузинский. № 2», тут же отхлебнул еще не настоявшегося напитка и продолжил:

— Чужие люди родителей и похоронили. Мы горевали, но по малолетству недолго. У нас, считай, одна изба осталась и подсвинок — все хозяйство. Пахать, сеять рановато еще. Первое лето без папы с мамой по деревне бродили: когда христарадничали, когда по чужим огородам за кусок хлеба траву пололи. А осенью — неурожай, голод страшный! Всем есть нечего стало. Куда нам деться? Хату бросили, двинули в Москву, пристали к банде малолеток на Казанском. Дрались, воровали, от бескормицы дохли. Полтора года по подвалам и чердакам. А весной двадцать третьего в облаву попали. Убегали от чекистов по крышам. Брат сорвался и насмерть разбился, а меня стреножили. Другой бы сказал: «Брата чекисты убили», а я — нет! Судьбы нам с братом такие разные выпали. Будь у нас в ту пору мозгов побольше — и брат бы тоже человеком стал.

Поймали меня и отмыли, обрили, вшей вывели. Помню, как в первый раз в жизни без папки с маткой досыта поел. Каша пшенная, рассыпчатая, вволю... Одну миску, другую, — а мне мало. Еле оторвали.

Потом в школу-коммуну направили, но пробыл там недолго. Я парень был даром что худой, но рослый. Видно, по этой стати определили воспитанником в артиллерийский полк Московской пролетарской дивизии, ну, чтобы тебе понятнее — вроде сына полка. Нас там таких «сыновей» человек десять было. За парту сел с новыми товарищами. Службу нес, дневалил, за лошадьми смотрел, конюшню чистил. Артиллерия тогда вся была на конной тяге. Так и рос... И, представь себе, в десять чи-

тать только-только научился — а в двадцать четыре институт окончил. Как тогда говорили — комвуз: институт истории при коммунистической академии, была такая в тридцатые годы, ее потом с академией наук слили. Меня туда приказом наркомвоенмора Ворошилова направили как лучшего школьного выпускника.

Хоть я поздно свое образование начал, но впитывал все, как губка. Читал и Энгельса с Фейербахом, и Ленина с Гегелем и Кантом. Сын крестьянский, в избе с земляным полом выросший, по которому блохи прыгали, — с «Критикой чистого разума» в руках!

И годы шли, задорные и радостные! А что бы со мной стало в другое время? Сдох бы, опухнув от голодухи, или после воспитательного дома в прислуги-мальчики определили, за хозяевами (очевидно, он намеренно сделал ударение на предпоследний слог) горшки выносить...

Антон Петрович сделал паузу, двумя глотками допил чай, взял новую папиросу, торопливо прикурил и продолжил:

— А тут война! Я — в добровольцы. В комиссариате личное дело посмотрели и вспомнили, что я — артиллерист. С первых дней, с того самого: «Братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои!», — ну ты знаешь, речь от третьего июля, — было ясно, что основную опасность для наших войск представляют немецкие танки. Сразу стали формироваться специальные артиллерийские подразделения для борьбы с ними. Тогда все модно было сокращать. Их сокращенно называли ИПТАПы — истребительные противотанковые артиллерийские подразделения. Я тогда и не знал, что ради создания таких отрядов Верховный главнокомандующий приказал уже в конце июля пересмотреть списки личного состава всех родов войск и «изъять весь младший офицерский, сержантский и рядовой состав, ранее служивший в артиллерийских частях» — дословно тот приказ помню. Собирали нас долго, расчеты боевые готовили, пушки подходящие подбирали, семидесятишестимиллиметровые — потяжелее, «сорокопятки» — полегче. Потом и зенитки стали налаживать — лобовую броню немецких «панцеров» малым калибром было не прошить...

Он снова помедлил, тряхнул лысой головой, сморщил лоб в склеротических жилках и выпалил:

— А ты знаешь, Миша, что два из пяти наступавших на нас танков сделаны были в Чехословакии? Без принуждения, с огоньком, сверх плана, без всяких палок и зуботычин, братья-славяне старались, как, впрочем, и остальная Европа!

И снова перешел на размеренный учительский тон:

— А по мере того, как дела на фронте шли все хуже, стали наши ИПТАПы на передовую отправлять. С первых боев по сарафанному радио сра-

зу названия пошли, клички: «Ствол длинный, жизнь короткая», «Двойной оклад — тройная смерть!», а пушку-сорокопятку иначе, чем «Прощай, Родина!», не называли! И вот в начале октября и до нас очередь дошла. Зашушукались, пока эшелонам до фронта добирались: «В наступление! Под Вязьму!» Мы сгоряча обрадовались — наконец наступление!

Да какое там наступление! Это маразматик Буденный и стратег домо-рощенный Конев Сталина убедили... Так тогда только и было слышно: «Сталин сказал!», «Сталин думает!» Забыли все, что он тоже человек из плоти и крови... Вместо жесткой плотной обороны в атаку ринуться... Убедили, мать их иттить, что самое время нанести контрудар...

Чем все это закончилось, наверное, сам знаешь. Ты — парень интeресующийся, любознательный, читал много и не по программе. Когда читал, волосы дыбом не вставали?! По программе у меня вся война — шесть недель. Вроде много. Но на сорок первый и сорок второй год — два часа. Это надо и про Брест, и про потерю Украины и Белоруссии, Кубани и Прибалтики, и про блокаду, и про Севастополь, и про все отходы и котлы с отступлениями, и про то, как немцы уже на Баку нацелились. Про кровь и плен, про бипланы против «Мессершмидтов»... А на сорок четвертый и сорок пятый — десять часов. А надо было бы наоборот. Очень это было бы поучительно для вашего брата. Вам еще воевать придется, знать все это надо назубок, ошибки помнить, как «Отче наш», друзей от врагов навскидку отличать. Щадят, видно, в Минпросе молодое поколение.

Скажу больше: катастрофы такого масштаба во всей войне ни до, ни после не было. Полной статистики до сих пор стесняются, опубликовать боятся. А по закрытым подсчетам там около миллиона человек — безвозвратные потери. Шестьсот тысяч в могилах, какое в могилах, по полям и окопчикам раскиданы! Шестьсот тысяч хоронить некому! Четыреста — в плену. Паулюс под Сталинградом потерял в три раза меньше... Командармов — минус пять, еще двое в плену, двенадцать полнокровных армий разгромлено...

Ладно, сейчас не урок... Да за такой урок мне методист РОНО по шапке от души настучал бы. Извини, отвлекаюсь. И попал я на свой первый бой, он же — последний. Командир 136-го ИПТАПа тридцать второй армии — форма новехонькая, португепя скрипит. Подо мной — две батареи по восемь стволов. Вроде сила. Задача — закрыть для мотомехчастей врага рокадный путь. Немцы ведь под Вязьмой хитро ударили — не вдоль основной дороги на самые боеспособные наши дивизии армии Рокоссовского, а в охват, где фронт был пожиже.

День был хороший, сухой, солнечный, ясный, вроде до беды далеко. И солнце такое ласковое, — даже не верилось, что война рядом. А уж

умирать и вовсе не хотелось. Впрочем — не знаю, как другие, — я перед боем о смерти не думал. Некогда! Надо позиции оборудовать, какие-никакие капониры отрыть, маскировку хотя бы самую примитивную. Толком не успели, как вдруг с двух сторон из-за перелеска — танки! Идут по полям, как по шоссе, только моторы все громче гудят.

Через пять минут на моих батареях начался ад. У кого-то из командиров орудий нервы не выдержали, и он огонь открыл на предельной дистанции. Остальные за ним вразнобой захлопали. Вижу, что даже если и попадаем по машинам, снаряды в лоб по танковой броне только искры высекают. А нас со второго их залпа и накрыло! Не люблю я про свою войну вспоминать! — лицо Антона Петровича слегка перекосила гримаса.

— Мой дед тоже воевал, — вставил я. — Он тоже про войну почти ничего не рассказывает. Только про ранение и про госпиталь...

— Значит, правильно воевал твой дедушка, геройски... Значит, танки вплотную к батареям подобрались, правый фланг уже уютжат, а мой зарывающийся пытается через ствол — панорама прицельная разбита — пушку на врага навести и, снаряд в казенник снаряжая, хрипит: «Это вам, суки, за Сталина!» Только затвор, клац-клац, лепит не прицеливаясь особо, на удачу. Только мат четырехэтажный, и снова про Сталина. А потом — взрыв. Последнее, что я видел — как он так с именем вождя и погиб. Про вождя вспомнил, не про маму.

Ну, вот сам посуди: если попадешь на фронт, на Амур или куда там придется (несколько лет прошло, а события на острове Даманский еще были свежи в памяти), пойдешь ты в атаку с криком: «За Брежнева!»?

От такой крамолы я чуть не похолодел. Но учитель не позволил мне рта открыть:

— Сомневаюсь! А тогда — в рост шли под огонь с криком, с воем: «За Сталина!», как с молитвой. Все как один! Воля народная была велика, и вера огромна. В страну, в братство общее, в дом общий и судьбу одну — русский, калмык ты или еврей. И в лидера, который все видит и понимает, который с тобой всегда рядом, а не портретом на празднике на палочку прибитом. И у него, как у тебя на фронте, только шинель да сапоги. Только это и позволило после череды фатальных поражений, в самую отчаянную минуту выстоять и в итоге победить. И эту нашу силу раньше никто и посчитать не мог. И систему, железно им выстроенную, сломать не удалось.

Я не выдержал и снова его перебил:

— У меня деда после войны, хоть и воевал, и ранен был, из партии выгнали и из института попросили... А его товарища по фронту, они вместе в Политехническом преподавали, вообще в тюрьму...

Своей правдой я его не смутил. Антон Петрович продолжил, как ни в чем не бывало:

— Вижу, ты морщишься. Я все понимаю, и его, Сталина, и прошлое обелить не стараюсь. Все было! И бессудные расстрелы, и перегибы, и лагеря, где вместе с врагами и подонками безвинные люди тяжкий крест несли... Было? Было! Заградотряды, военно-полевые суды, чистки... Было? Было! А врагов сколько с войной из всех щелей полезло? Власовцы, бандеровцы, полки СС «Остлунд», «Галичина», бригады Дирлевангера, полицаи, айнцацкоманды... Десятки, если не сотни тысяч человек! Кто шесть миллионов доносов на своих соседей и сослуживцев накатал? Изуверы-энкавэдешники? Не-ет, мирные соседи и сослуживцы! С начальником счеты свести, комнату лишнюю в квартирке заполучить, на работе талантливого товарища, который тебе, дураку, хода не дает, подсидеть... И писали, писали, днем и ночью старались. А за бумагой, за письмецом — «воронки» поехали... Это природа людская, которая веками складывалась, и которую за двадцать пять лет, прошедших с Октября, было не вытравить. А знаешь ли ты, дорогой мой, — тут Антон Петрович впервые назвал меня не по имени или фамилии, а как-то иначе, — что евреев на заклание в Бабий Яр не арийцы сопровождали и прикладами поторапливали, а их соседи добрые по Подолу и Оболони? А здесь, под боком, в Ленинградской области и на Псковщине батальон «Шелонь» как зверствовал? Я тебе скажу — люто! Добро бы воевали с партизанами, — так они, например, всех больных и увечных, и до кучи — врачей с медсестрами гатчинской психиатрической больницы расстреляли. Немцев там даже среди командиров не было... Их потом в январе сорок шестого на площади Калинина, ну, там, где теперь кинотеатр «Гигант» стоит, на кольце «шестерки», вешали! Дней пять висели для острастки и назидания. Душ пятнадцать, их и человеками назвать нельзя — тех, кого живыми схватить удалось. Все, как один, в сапогах добротных... И пока они на ветру полоскались, никто сапоги эти стащить не пытался, свои опорки поменять, хотя с промтоварами очень туго было. Брезговали... Так вот, в этой «Шелони» идеологией управлял бывший инструктор лужского райкома партии, вроде замполита у них был. Я дело читал, когда его в архив сдали... Просмотрели, выходит, компетентные органы?

Вот ты говоришь, что и твоего деда репрессировали? Горько... Но ты ведь учил историю и обществоведение. Подскажи мне, где ты видел, чтобы смена общественно-экономической формации при всеобщем довольстве под звуки легкой музыки протекала? И негодники всякие к святому делу примазывались. Только кровь лилась реками. Грязь, пот и слезы глаза застлали. Тяжкий труд, потери, неудачи, предательства. А

нам еще всех тяжелее приходится: с первого московского царства Россию уничтожить пытаются...

Слова «Россия» в ту пору не было в обиходе — тем больше удивился я, услышав его из уст учителя, который на уроках ежеминутно оперировал понятием «Советский Союз».

— Вот ты думаешь, я его оправдываю? Вовсе нет! От ошибок никто не застрахован, никто, кроме Франциска Ассизского, не свят... То, что чрезмерная подозрительность в последние годы в нем возобладала, — кто об этом спорит. То, что в людях ошибался, обманывался — тоже факт. Но имя его из истории не вычеркнуть, со скрижалей не сбить. За тридцать лет, из которых пять выпало на самую страшную войну в истории, этот человек своей волей, требовательностью, организацией, работой на износ привел нашу страну от деревянной сохи к атомной бомбе. Кстати, миф бытует, — тут Антон Петрович скривился, — об авторстве этой фразы. Ее Черчиллю приписывают. Враки! Этот пассаж выдернут из статьи о Сталине в британской энциклопедии последнего переиздания. А Черчилль о нем сказал: «России очень повезло, что в момент отчаянной борьбы ее возглавил суровый военный начальник, человек неиссякаемого мужества и силы воли, прямой и даже грубый...» Забвению предать его имя не получится, как ни крути!

— А вы-то как уцелели, Антон Петрович? — довольно бестактно спросил его я.

— Меня взрывной волной на лафет со всей силы бросило, осколки, по счастью, мимо прошли, но бедро от удара почти раздробило. В сознание пришел, когда меня уже товарищи боевые выносили. Приблизился к группе генерала Болдина — там две-три тысячи человек из котла вырвалось, и мы с ними. Как меня на руках тащили, как выдержали, не пойму. Но не бросили! Нас девять душ человеческих от батареи в живых осталось, из них — двое легкораненых и я, как врачи в анамнезе пишут, «средней тяжести». Так мне никто из товарищей и не поведал: подбили ли мы хоть одну вражескую машину или нет? Скорее всего, напрасно ребята полегли...

Слух ко мне понемногу вернулся уже в госпитале. Такое вот все мое военное геройство... Почти год на койке провалялся. Бедро плохо срасталось, сепсис начинался, а без антибиотиков — какие к черту в сорок первом антибиотики! — в пору ногу отнимать. Но и тут вывезло — vezучий я, видимо, человек! Считаю, три раза родился: первый — у папы с мамой, второй — в облаве, а третий вот в госпитале. А что одна нога короче другой стала на четыре сантиметра, так то — не калека! А уж калек я за все свои больницы немало перевидал, посмотрелся, до чего человеческое тело уязвимо.

И удивительная со мной приключилась история. Уже лежал в московском госпитале, в бывшем туберкулезном НИИ на Яузе, долечивался, на костылях пробовал передвигаться, когда к нам в палату поступил обгоревший воин-танкист. Руки-ноги почти в порядке, а голова бинтами замотана, видны только рот и черные губы в красных струпьях. Говорить мог с трудом. Рассказал, что, когда в атаку шли, болванка по ним ударила, прямо в смотровую щель. Вспышка, лицо опалило, а потом — боль и темнота... Раз в два дня ему перевязки делали. Сестрички в коридорах шушукались: «Ой, девочки, а что с этим будет, когда ему бинты снимут? У него же лица почти нет, одно мясо горелое!» И одна постарше, поматерее, одернула: «Дуры вы, бабы! Ему теперь зеркало без надобности...»

Антон Петрович со злобой вонзил в пепельницу потухшую папиросу.

— Танкист это письмо от жены получил. Семье сообщить успели, что он в госпитале, живой, а в каком состоянии — скорее всего, нет. Попросил почитать, я ему прочел. Письмо хорошее, доброе. Прочитал перед сном повторно...

Неделя прошла. Мне комиссию назначили, к финалу двигалась моя больница. А вестей для моего танкиста больше нет. Почта тогда медленно ходила. А может, жене его было не до писем. Люди в тылу по десять-двенадцать часов без выходных и праздников у станков стояли, руду добывали, хлеб растили. Женщины, старики, подростки. «Все для фронта, все для победы!» Он опять ко мне: «Прочти, мил человек, письмишко заново!» Мы — искать, а оно затерялось. Может, кто с тумбочки случайно смахнул, или из открытого окна ветром сдуло — июль сорок второго жаркий был, Москва от зноя плавилась. Ищем — нет письма! Сказали ему, он расстроился, отвернулся, да так до ночи и пролежал. Не спал, ворочался, кровать скрипела. И мне тоже сон не шел. Стал я думать, как его горю помочь, и вдруг сообразил, что письмо почти слово в слово помню! Утром говорю танкисту: «Нашлась твоя депеша!» Газетой позавчерашней пошелестел — и начал... Соседи по палате прямо обомлели, но виду не подали, не испортили мне обедни, а пареньку тяжело раненому настроения.

С той поры я и заметил, что если дважды прочту текст, то очень близко могу его воспроизвести, а если трижды — то на века в память вобью. Контузия у меня в голове, видно, что-то перемкнула в нужную сторону. Память стала просто фотографическая. Очень меня выручала, когда я после войны в Высшую партийную школу был направлен, ее только-только организовали. Мне — вопрос каверзный, а я в ответ — текст из основоположников. Удивлял преподавателей.

Ну, а тогда меня на врачебной комиссии признали ограниченно годным. Так и попал я в нестроевые. Думал, еще повоюю в какой-нибудь

комендантской роте, но тут вспомнили, что я историк, и направили в распоряжение политуправления Волховского фронта. Там в архиве до конца сорок четвертого и дослужил. Победу встретил на переформировании. Хотели меня послать в штаб Ленинградского военного округа, его по новой пришлось отстраивать, но тут новая разрядка подоспела: всех инвалидов с образованием хотя бы средним — в ленинградское отделение ВПШ, на «гражданку»: отвоевались. Так здесь и прижился. В Москву возвращаться было не к кому, да и незачем: до войны обзавестись семьей не успел, родных не осталось. Параллельно в Герценовский институт на заочный поступил, с него и началась моя преподавательская стезя...

Возникла пауза. Вокруг нас медленно растворялись сизые клубы папиросного дыма. Учитель посмотрел на наручные часы. Я чувствовал, что в нашем распоряжении остается минуты три-четыре, не больше, и уже нетерпеливо заерзал на неудобном жестком стуле. Вдруг историк спросил:

— А ты фильм «Обыкновенный фашизм» видел?

— Видел, Антон Петрович!

Годом ранее у нас в классе даже был диспут на эту тему.

— Вот надо бы спросить у Михаила Ильича (учитель имел в виду режиссера Михаила Ромма): не хочет ли он сделать фильм «Обыкновенный социализм»?

Я аж задохнулся. Это заявил советский учитель истории и обществоведения. В здравом уме и твердой памяти. Своему ученику... На мгновение мне показалось, что это не он говорит, а в своей обычной манере, немного нараспев, читает Ираида Ильинична: «А там расстреливайте, вяжите к столбу! / Я ль изменюсь в лице. / Хотите, туза привяжу ко лбу, / Чтоб ярче горела цель...» История и литература смешались...

— У тебя хорошие глаза. Это сейчас редкость. Ты пока еще не способен незаслуженно обидеть, наушничать, предать. Дай бог, таким и останешься. Тебе я скажу. Смотри, что происходит!

Мне показалось, что каждая новая фраза давалась ему со все большим трудом:

— Экономические реформы, намеченные Косыгиным, провалены и похоронены. Производительность труда по отраслям в два-четыре раза ниже, чем в побежденной Германии. Хлеб мы покупаем в Канаде и Аргентине за валюту и золото... Это страна, которая кормила всю Европу при царе-батюшке и выдержала два жесточайших неурожая уже при Советской власти, не отвлекая силы от индустриализации... Статуправление при Совете Министров нас пытается успокоить. Что ни год — план перевыполнен! И по чугуну, и по стали! В Америке эти мил-

лионы тонн и не считают. Там считают: выпустили автомобиль — вот он! Бери, покупай, ездь, в добрый путь! А у нас — посчитали и металл, и шины, и карбюраторы... Ты доедешь куда-нибудь на карбюраторе? В КВН задаются вопросы с издевкой: «Чего, уважаемые товарищи, больше в Советском Союзе — тракторов или домов отдыха?» И ответ якобы правильный: «Одинаково! Только тракторов — в пересчете на пятнадцатисильные, а домов отдыха — на однодневные...» Но это полбеды! На карту мира посмотри! Варшавский договор — только для первых страниц газет, которые никто не читает, и трибун ораторов, которых не слушают. Этот союз ныне только нашими танками и трубой почти бесплатной для народных демократов подперт, они ждут удобного момента, чтобы разбежаться. Шестьдесят восьмой год и «пражская весна» показали вероятный исход со всей очевидностью. Ты увидишь, я-то точно не доживу, ну и не надо, — следующей Польша загорится. Да что там этот договор?!

Он нервничал все заметнее, его олимпийское спокойствие куда-то исчезло:

— Скажешь, что у России никогда в истории не было настоящих союзников, кроме ее армии и флота, — и прав будешь. Не надо нам таких друзей, до первого поворота до первого критического угла. Но посмотри на республики Средней Азии и Закавказья. Руководство — удельные князья, родоплеменная система управления, мечтают об одном: от Москвы вассальную зависимость сбросить... Центральная власть упивается своим величием, с каждым годом слабеет, сама того не замечая. Или отказывается замечать халатность величайшую, в первую голову — по отношению к стране, к ее народу, к нам с тобой. Слабая власть в России, в Союзе — это катастрофа! Как они этого не понимают? Историю плохо учили, двоечники! Книжка тут появилась, название захватывающее «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» Читал ее, далеко не со всеми постулатами соглашусь, о китайской угрозе, например, явно под впечатлением момента, а не тщательного анализа, писано, но в целом — очень точно и больно. Вполне академическое исследование. Впрочем, его тебе лучше не читать... Мне по роду общественной деятельности, как старшему лектору общества «Знание», приходится...

Он бросил в пепельницу погасшую папиросу и тут же достал новую.

— Мой тебе совет: учись, думай, анализируй. Не смотри на жизнь однобоко, старайся ухватить всю картину, не вешай ярлыки правых и виноватых. Очень все это потребуется. Хорошие головы и крепкие плечи. Чувствую, что и в твоей жизни будет много ужасных чудес...

Прозвенел звонок, извещавший о конце перемены. Класс за тонкой дверцей стал наполняться голосами. Заскрипели стулья, кто-то с грохо-

том подвинул стол. Антон Петрович мотнул головой, желваки заиграли на впалых скулах.

— Что-то я разговорился. Сам себя утомил, а у меня еще три урока, и везде — новый материал. Думаю, ты меня понял. Наше поколение жило трудно, непросто, страшно. Голодали и воевали. Отказывая себе в самом насущном, строили и создавали, работая на будущее. Но я не жалею ни о чем. Была бы возможность пережить свою жизнь заново, прожить другую, зачеркнуть прошлое — отказался бы, как ни заманчиво было бы сбросить лет сорок. Живи и ты так, чтобы тебе никогда не захотелось начинать с чистого листа! Вот вы считаете, что я — старик. — Он поморщился. — А мне еще и шестидесяти нет. Но, бывает, утром просыпаюсь от звона будильника, надо вставать, а сил уже нет. Как будто не шестьдесят, а все сто двадцать прожил...

Он глубоко вздохнул, подобрался и продолжил ровным учительским тоном, как будто вернулся в класс:

— И последнее, что я хочу тебе сказать... Человек не становится командиром по наитию, по щелчку пальцев, по внезапному озарению, не рвется к штурвалу управления государством по доброй воле. В этом занятии нет ничего увлекательного, а только колоссальная ответственность. Человек становится к штурвалу, если предыдущего рулевого смыло за борт, а впереди — шторм, рифы... А он чувствует в себе силы противостоять буре. И не будет настоящим рулевым перед командой красоваться, не будет у него на это времени! Это только маленькие мальчики думают, что на корабле лучше всего быть капитаном. Удобнее всего быть пассажиром и ни за что не отвечать. Но не проживи свою жизнь пассажиром! А теперь иди, а то на следующий урок опоздаешь...

В год нашего выпуска министерским приказом были изменены правила награждения выпускников так золотыми и серебряными медалями: теперь для получения «золота» претенденту необходимо было иметь все пятерки в полугодиях за девятый и десятый классы, что при требованиях в нашей школе оказалось задачей поистине циклопической. Так наш выпуск стал первым и единственным выпуском школы №239 без медалистов — при том, что в будущем явил миру члена-корреспондента Академии Наук, множество докторов наук и одного полного академика. Правда, академика Французского математического общества, лауреата премии Бурбаки, что дела, по большому счету, не меняет. Задним числом исправлять четверки годичной давности на пятерки противоречило фундаментальным принципам школы номер двести тридцать девять.

Серебряные медали в тот период и вовсе отменили. Вместо них добавили похвальные листы-грамоты по предметам. Кроме физики, я удо-

стоился грамот по литературе и истории с обществоведением. Ответственными за выдвижение соискателей и распределение наград были учителя-предметники.

Антон Петрович скончался через три года после того памятного разговора.

Когда я шел по улице Лебедева, направляясь к моргу Военно-медицинской академии, где была назначена гражданская панихида, рядом притормозил водитель автобуса и, открыв окно кабины, спросил:

— Кого хоронят, пацан?

Очевидно, его удивило количество людей со скромными траурными букетиками, двигавшихся по близлежащим улицам в середине будничного дня.

— Учителя! — ответил я.

Несколько сот человек собралось, чтобы отдать Антону Петровичу последний долг. Небольшой зал, где был выставлен гроб с его телом, был забит, как эскалатор метро в час пик. Я не смог туда протолкнуться. Из открытых настежь дверей раздавались срывающиеся голоса: «Окончен большой земной путь... Тяжелая утрата... Был честен перед нами и перед собой...»

Урну с прахом несколько дней спустя предали земле на Северном кладбище. Туда я не поехал: в тот день меня ожидал дифференцированный зачет по теоретической механике, который невозможно было отменить либо перенести.

Ираида Ильинична работала в школе до конца перестроечных времен, но после моего выпуска судьба нас больше не сводила. На телеэкране она больше не появлялась: вектор изменился, и всем стало не до школьного и внешкольного образования и, тем более, до гипотетического переноса мемориального музея Александра Грина. В середине девяностых она уехала на ПМЖ в Германию. Что было тому причиной, мне неизвестно, как и то, чем Ираида Ильинична занималась в последние годы. Она ушла из жизни в глубокой старости, не дожив несколько месяцев до своего столетия.

Много ли народа провожало Ираиду Ильиничну к месту последнего приюта? В Баварии он находится или в Мекленбурге? (Слышал версию, что похоронена она в Кельне). Много ли было сказано добрых слов над могилой, и упокоилась ли в итоге ее мятежная душа?

За год до смерти она микроскопическим тиражом издала книжку об истории своей семьи — художественно-документальное повествование, подкрепленное письмами и сохранившимися в ее архиве официальными бумагами. Деньги на осуществление замысла собирали ее

ученики, к тому моменту разъехавшиеся по всему миру — от Благовещенска до Лос-Анджелеса. Я тоже приложил руку к изданию книги, получив извещение о сборе средств с неизвестного адреса, и позже мне прислали бандероль с тонкой книжицей. На твердой, строгой черно-белой обложке крупными буквами, стилизованно обернутыми в колючую проволоку, было вытеснено: «Мамина Голгофа». Название несколько вычурное; впрочем, вычурность для литератора — не смертный грех.

Сто пятьдесят страниц беллетризованной исповеди. Живая авторская речь, перемежаемая сухим шершавым языком протокола, любовь без меры и категорическое отторжение. Отвага и благородство, предательство и ложь — все, из чего соткано человеческое существование. Горькая трагическая судьба. Тайна, ранее сберегаемая за семью печатями...

Тираж был отпечатан в той же типографии, которая дала путевку в жизнь моей первой книге.

Удивляет то, что эти два педагога вместе работали, сидели рядом на одних педсоветах и, хоть и не были особенно близки, уживались в одном коллективе. И ни один из них не старался слепить из нас свое подобие — они просто учили нас думать. И оба говорили нам правду, каждый — свою.

Впоследствии я прочитал Василя Быкова, Эриха Мария Ремарка и Константина Симонова и понял, что правда бывает окопная и офицерская. Я изучил труды Василия Розанова и Ивана Ильина и узнал, что у одного правда — глубинная, а у другого — безжалостно беспощадная. На своей первой работе я вляпался в конфликт с недалеким, как мне тогда казалось, начальством, и на своей шкуре прочувствовал, что неоспоримая неприглядная правда может быть правдой неполной и слишком дорогой в воплощении. Грустная голая правда моего деда не уберегла меня от опрометчивых поступков в частной жизни, которые я совершил под влиянием своей собственной наивной земной правды.

Спасибо вам за правду, Ираида Ильинична и Антон Петрович! Пока я жив, моя память никогда вас не отпустит, мои учителя!